## Город побеждён

О. Генри

Перевод Л. Гаусман

Появление Роберта Уолмсли на горизонте Нью-Йорка было результатом упорной борьбы. Он вышел из нее победителем — с именем и состоянием. Но, с другой стороны, столица проглотила его целиком. Она дала ему то, что он требовал, и потом наложила свое клеймо на него. Город перекроил, перешил, вырядил, отштамповал его по одобренному образцу. Город широко распахнул перед ним свои социальные ворота — и запер его на низко скошенной, ровной лужайке, в избранном стаде жвачных. В одежде, повадке, манерах, провинциализме, косности, ограниченности Уолмсли достиг той чарующей дерзости, раздражающей законченности, изощренной грубости, уравновешенной важности, которые делают нью-йоркского джентльмена таким восхитительно ничтожным в его величии.

Деревенька одного из верхних Штатов с гордостью признавала преуспевшего, блестящего молодого столичного адвоката продуктом своей почвы. Правда, шесть лет назад эта же самая деревня, вынув соломинку из испачканных черникой зубов, разразилась простодушным и презрительным смехом: «Ну уж этот веснушчатый Боб старика Уолмсли! Дома, на ферме, кормежка трижды в день обеспечена, а он предпочел закуску на ходу по ресторанам скрученной тройным кольцом столицы!» Через шесть лет ни один громкий процесс, загородная прогулка, столкновение автомобилей, шикарный бал не производили вполне законченного впечатления, если там не красовалось имя Роберта Уолмсли. Портные выслеживали его на улице, чтобы перенять новую складку в покрое его безукоризненных брюк. Аристократы в клубах и члены самых старинных, безупречных семей были рады похлопать его по спине и назвать фамильярно Боб.

И все же Роберт Уолмсли достиг Юнгфрау своей карьеры только с женитьбой на Алисе ван дер Пул. Именно Юнгфрау, ибо так же высока, холодна, бела и недоступна была эта дочь старинных бюргеров. Социальные Альпы, окружавшие ее (сколько тысяч путников напряженно карабкались вверх по их мрачным ущельям!), поднимались только до ее колен. Она башней высилась в своей собственной атмосфере, ясная, непорочная, гордая. Она не бродила вдоль ручьев, не кормила обезьян, не воспитывала собак для выставки. Она была ван дер Пул. Ручьи были созданы услаждать ее слух, обезьяны — служить предками прочих людей, собаки — по ее понятию — быть спутниками слепцов и предосудительных типов, курящих трубку.

И вот этой Юнгфрау достиг Роберт Уолмсли. Если он и убедился — заодно с милым, легконогим, кудрявым поэтом, — что путник, взобравшись на горные вершины, находит самые высокие пики окутанными густым покровом из облаков и снега, то он все же храбро скрыл свой озноб под улыбкой. Он был счастливчик и знал это, хотя ему и приходилось, подражая спартанскому юноше, ходить с мороженицей под жилетом против самого сердца.

После краткого свадебного путешествия за границу молодые вернулись в Нью-Йорк — всколыхнуть крупной рябью спокойный бассейн (такой невозмутимый, холодный и тусклый) высшего общества. Они задавали приемы в усыпальнице былой славы — в каменном мавзолее старинного величия, посреди векового парка. И Роберт Уолмсли гордился своей женой, но когда он правую руку протягивал своим гостям, в левой он крепко держал свою альпийскую палку и градусник.

Однажды Алиса нашла письмо к Роберту от его матери. Это было немудреное послание, полное аромата полей, материнской любви и деревенских новостей. Оно подробно уведомляло о здоровье свиньи и новой рыжей телки и справлялось, в свою очередь, о здоровье Роберта. Письмо — прямо из родного дома, с биографиями пчел, рассказами о репе, гимнами только что снесенным яйцам, подробностями о забытых родных и кучей сушеных яблок.

— Отчего вы не показывали мне писем матери? — спросила Алиса.

В ее голосе всегда было нечто такое, что заставляло вас вспоминать лорнетку, судебный отчет, скрип саней на пути от Даусона к Форт-Майль, дребезжание подвесок на канделябрах вашей бабушки, снег на крыше монастыря, полицейского пристава, явившегося с приказом задержать вас.

— Ваша мать, — продолжала Алиса, — приглашает нас на свою ферму. Я никогда не видела фермы. Мы поедем туда на неделю или две, Роберт?

— Поедем, — сказал Роберт с важным видом члена верховного судилища, одобряющего приговор. — Я не показывал вам до сих пор приглашения, полагая, что вам не захочется ехать. Мне очень приятно ваше решение.

— Я сама напишу вашей матери, — ответила Алиса с легким оттенком энтузиазма. — Фелиси сейчас же уложит мои сундуки. Пожалуй, хватит семи. Вряд ли ваша мать устраивает большие приемы. А домашние вечера у нее часто бывают?

Роберт встал и, в качестве защитника сельских местностей, предъявил отвод против шести сундуков из семи. Он старался определить, объяснить, растолковать, нарисовать, описать, что это такое — ферма. Но собственные слова странно звучали в его ушах. Он просто не замечал, до какой степени он стал городским человеком.

Прошла неделя — и она застала супругов уже на маленькой деревенской станции в пяти часах езды от столицы. Ухмыляющийся, язвительный, голосистый юноша, правивший мулом, запряженным в повозку, резко окликнул Роберта:

— Алло, мистер Уолмсли! Наконец нашли дорогу домой? Жаль, что я не приготовил для вас автомобиля, но отец как раз сегодня работает на нем на десятиакровом клеверном выгоне. Надеюсь, вы извините, что не накинул смокинг для вашей встречи, но ведь еще нет шести часов, не правда ли?

— Том, я рад видеть тебя, — сказал Роберт, схватив руку брата. — Да, я нашел наконец дорогу домой. Ты имеешь право сказать «наконец». Ведь больше двух лет я не был здесь. Но теперь это будет чаще, мой мальчик.

Алиса — и в летний зной холодная, как полярная гирлянда, белая, как норвежская снегурочка, в своем прозрачном муслине и кружевном, с воланами зонтике — показалась из-за угла станции, и Том потерял весь свой апломб. Он не проронил больше ни слова и на обратном пути поведал свои тайные мысли только мулу.

Они ехали к ферме. Заходящее солнце щедро затопляло золотом богатые поля пшеницы. Города остались далеко позади. Дорога вилась вокруг леса, долин и холмов, подобно ленте, оброненной с наряда беспечного лета. Ветер мчался за ними следом, точно ржущий конь за колесницей Аполлона.

Скоро показался и серый домик фермы под тенью верной рощи. Они увидели длинную тропинку со свитой из орешников, бежавших от дороги вплоть до самого дома; они вдыхали аромат шиповника и влажных, прохладных ив у речки.

И сразу все голоса земли запели хором душе Роберта Уолмсли. Они глухо гудели из-под навеса хмурого леса, чирикали и жужжали в знойной траве, заливались трелями в журчащем потоке, звучали звонкой свирелью Пана в туманных лугах, им вторили птицы в погоне за комарами и мошками, ласково аккомпанировали степенные колокольчики коров — и в могучем хоре каждый по-своему вопрошал:

— Ты наконец нашел дорогу домой?

Голоса земли говорили с ним по-старому. Листья, бутоны и цветы болтали с ним на прежнем языке его беззаботной юности: неодушевленные предметы, родные камни, заборы и изгороди, ворота и крыши, межи и перекрестки — все было полно красноречия, все изменило свой облик. Деревня улыбалась, и, обвеянный ее дыханием, Уолмсли почувствовал на миг, как сердце переполнилось старой любовью. Город исчез.

Да, деревенская наследственность проснулась, захватила, заполонила Роберта Уолмсли. Но странно: он тут же отметил про себя, как сидевшая рядом с ним Алиса вдруг показалась ему чужой. Ей не было места в этом возврате к прошлому. Никогда раньше она не казалась такой далекой, бесцветной и недоступной, — неосязаемой и нереальной. И все же никогда еще он не находил ее такой восхитительной, как теперь, сидя рядом с ней в тряской деревенской повозке, где она гармонировала с его настроением и средой не больше, чем Юнгфрау — и огород мужика.

В этот вечер, после приветствий и ужина, вся семья, включая Бэфа, желтого пса, высыпала на крыльцо. Алиса, в очаровательном бледно-сером туалете, не высокомерная, но все же молчаливая, выбрала тенистый уголок. Мать Роберта, сияющая, беседовала с ней о варенье и о болях в пояснице. Том уселся на верхней ступеньке, сестры — Милли и Пэм — на самой нижней — ловить светящихся жуков. Мать — в плетеной качалке. Отец — в своем большом мягком кресле, где уже недоставало одной ручки. Бэф растянулся посредине, мешая всем и каждому. Сумеречные духи и домовые прокрались незримо, ожили в памяти и снова болезненно тронули сердце Роберта. Деревенское помешательство овладевало его душой. Город исчез.

Отец сидел без трубки, ежась в своих тяжелых сапогах, — жертва неумолимой вежливости.

— Нет, не надо! — крикнул Роберт, принес трубку, зажег ее, схватил старика за сапоги и стащил их с его ног. Но один сапог внезапно соскользнул — и мистер Роберт Уолмсли, из Вашингтон-сквера, скатился с крыльца, а Бэф с неистовым лаем очутился на нем. Том саркастически рассмеялся.

Роберт сорвал с себя пиджак и жилет и бросил их в куст сирени.

— Эй ты, деревенщина, — крикнул он Тому, — выходи-ка сюда, я натру тебе спину травой. Мне показалось, ты меня назвал «фитюлькой». Поди-ка сюда, поди! Вот ты у меня попрыгаешь!

Том понял приглашение и с удовольствием принял его. Трижды они боролись на траве «боковым захватом», точно какие-нибудь светила арены. И дважды Том вынужден был отдаться на милость изящного адвоката.

Растрепанные, задыхаясь и не переставая хвастаться своей доблестью, они подошли к крыльцу. Милли обронила дерзкое замечание насчет достоинств столичного братца. Вмиг Роберт зажал между пальцев исполинскую стрекозу и направился прямо к сестре. С диким криком та во весь дух пустилась по тропинке, преследуемая мстительным призраком. Четверть мили — и оба вернулись; сестра — чистосердечно извиняясь перед победителем — фитюлькой: деревенская мания завладела им окончательно.

— Эх вы, сеноеды! Растяпы! Да я вас всех, как коров, в закуту могу загнать! — тщеславно кричал он. — Ну-ка, волоките сюда всех своих псов, всех лохмачей — всех!

Он так вертелся колесом в траве, что пронзил сердце Тома язвительной завистью. Потом с гиканьем затопал на задворки, вернулся с дядей Айком, одряхлевшим мулатом-работником с банджо[[1]](#footnote-1) в руках; посыпал песком крыльцо, проплясал «Цыплят на подносе» и еще с полчаса показывал разные фокусы-покусы. Просто невероятно дико и шумно вел он себя. Пел, наводил на всех жуть страшными сказками, разыгрывал деревенского простофилю, паясничал, фиглярничал. Он обезумел, обезумел от воскресшей в его крови старой жизни.

Он так разошелся, что однажды мать попыталась даже — очень вежливо — остановить его. Тут Алиса задвигалась, точно собиралась что-то сказать, но не проронила ни звука. Она сидела все время неподвижно, — стройное, белое видение во мраке, видение, к которому никто не решался обратиться с вопросом, видение, тайну которого никто не решался прочесть.

Скоро, ссылаясь на усталость, она попросила позволения удалиться в свою комнату. Ей пришлось пройти мимо Роберта. Он стоял в дверях — фигура из вульгарной комедии, всклокоченный, с разгоревшимся лицом, в непростительно растрепанном костюме — ни малейшего следа безукоризненного Роберта Уолмсли, избалованного клубмена, украшения избранных кругов. В эту самую минуту он был поглощен каким-то замысловатым трюком с кастрюлей, и вся семья, вся без исключения, вновь плененная им, смотрела на него с нескрываемым обожанием.

При проходе Алисы Роберт вдруг осекся. На мгновение он забыл о ее присутствии. Даже не взглянув на него, она поднялась по лестнице.

После того веселье утихло. Побеседовали еще около часа, и Роберт тоже удалился к себе.

Когда он вошел в их комнату, Алиса стояла у окна, все в том же наряде, как и раньше на крыльце. За окном была исполинская яблоня, вся в цвету, ветви ее лезли прямо в окно.

Роберт вздохнул и подошел ближе к окну: он готов был выслушать свой приговор. Отпетый плебей, он читал вердикт правосудия уже в самой позе этого тихого, в белой одежде видения. Он знал строгие, прямые линии, которые сейчас вычертит урожденная ван дер Пул. Он, деревенщина, аляповато прыгающий внизу, в долине — и чистая, холодно-белая, застывшая вершина Юнгфрау не может даже хмуриться, глядя на него. Он сам, своими собственными поступками сбросил с себя маску. Весь лоск, вся важность, весь вид, привитые ему столицей, свалились, как небрежно наброшенный плащ, при первом дуновении свежего деревенского ветра. Он сумрачно ждал неминуемого приговора.

— Роберт, — прозвучал спокойный, холодный голос его судьи, — я полагала, что выходила замуж за джентльмена.

Вот оно, начинается! И все же, даже в этот момент, перед лицом судьбы — Роберт с увлечением рассматривал ветку яблони; как часто он карабкался на нее вот из этого самого окна. Думается, и теперь он мог бы проделать то же. А интересно, сколько цветов на яблоне — миллионов десять наберется?

Но тут снова раздался чей-то голос:

— Я думала, мой муж — джентльмен... — голос громче. — Но...

Отчего она подошла и стала так близко?

— Но я сделала открытие... — Полно, разве это говорит Алиса? — ...что мой муж лучше: он — мужчина. Боб, милый, поцелуй меня.

Город исчез.

1. Банджо — музыкальный инструмент вроде гитары. [↑](#footnote-ref-1)